Л. П. ГРОССМАН

Бакунин и Достоевский*

Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже
на лицо настоящего Нечаева.

«Дневник писателя». 1873, XVI

В лице Бакунина, как в обликах Бетховена или Ибсена, было что-то тяжелое и непроницаемое. Кажется, каменные черты слепка скрывают живую плоть этих сосредоточенных и словно застывших лиц. Оживляющие движения веселья или задумчивости словно стерты навсегда с этих неподвижных человеческих масок, возбуждающих в нас тревожную пытливость своей невозмутимой загадочностью.

Кажется, такой же тяжелый и непроницаемый покров до сих пор скрывает от нас духовный облик Бакунина. Великой загадкой прошел он среди своих современников, изумлял, возмущая и восхищая их своей непонятной гигантской и чудовищной духовной организацией. Потомки преклоняются перед величием этой человеческой кариатиды и бьются над разгадкой ее небывалой архитектоники. Самое тщательное собирание материалов и документов не дает здесь все же, в результате, тех ослепительных вспышек, какими подчас творческий гений озаряет мгновенно и во весь рост поразившую его конгениальную личность.

Последнее слово в истолковании загадочных образов прошлого принадлежит обычно не ученым, а поэтам. Не исследователи, а художники слова часто дают окончательную формулу самым глубоким и сложным историческим характерам. И в этом отношении Бакунин разделяет участь Цезаря, Кромвеля, Петра или Грозного[1]. Личность его также поражала фантазию поэтов, драматургов и композиторов. В одной русской литературе над портретом его работали: Тургенев — в романе, Герцен — в своих мемуарах, Константин Аксаков —

---

* Доклад, прочитанный в Обществе Любителей Российской Словесности 25 февраля 1923 г. Напечатан в «Печати и Революции», 1923.

в восторженной оде[2], в наши дни Мережковский — в драме[3]. И, тем не менее, фигура Бакунина не отлита для нас в окончательный и непререкаемый образ, и подлинное выражение его живого лица еще не обнаружено за его монументальным ликом.

И, кажется, только единственный раз, на протяжении целого полустолетия, маска с лица Бакунина была приподнята, и сущность труднейшей психологической проблемы разрешена до конца в одной замечательной художественной интуиции.

В русской литературе есть книга о Бакунине, написанная еще при жизни его, но до сих пор с этой стороны неизвестная. Это, конечно, самое выдающееся исследование о нем, и если нам удастся раскрыть таинственно запечатленный образ одного фантастического героя русского романа, духовная природа Бакунина предстанет перед нами в пластических чертах одного гениального «воображаемого портрета».

I

Перенесемся в эпоху начального роста первого Интернационала. 9 сентября 1867 г. в Женеве, в огромном Избирательном дворце, в присутствии шеститысячной толпы, открылся первый конгресс Лиги Мира и Свободы.

Это было крупное событие в политической жизни Европы, объединившее пацифистов различных толков и направлений. Гарибальди прибыл на открытие и выступил в первом же заседании его с боевой программной речью. Джемс Гильом, Людвиг Бюхнер, Цезарь де Пап говорили от имени различных организаций и союзов. Наконец, почетный воин международной революции, ветеран Праги и Дрездена, узник Саксонии, Австрия и России, дважды приговоренный к смертной казни и спасшийся бегством через три части света, Михаил Бакунин, уже при жизни ставший легендарным героем, потрясал огромную аудиторию Женевского дворца ударными тезисами своей очередной исторической речи.

Он начал с решительного протеста против самого существования русской империи, основанной на систематическом отрицании всякого человеческого права и свободы. Он требовал уничтожения централизованных государств для создания свободной федерации провинций и народов — будущих Соединенных Штатов Европы. В длящихся политических условиях он предсказывал неустрашимость страшной всемирной войны с неизбежным возвратом «к ужасным временам Валленштейна и Тилли»[4]. — «Горе, горе нациям, — заключал он с обычным своим ораторским подъемом, — горе нациям, вожди

которых вернутся победоносными с полей битв! Лавры и ореолы превратятся в цепи и оковы для народов, которые вообразят себя *победителями*».

Шеститысячная толпа, наэлектризованная мощными ритмами этого сокрушительного красноречия, в напряженном безмолвии внимала оратору. А в пестрой массе ученых, журналистов и рабочих делегатов, жадно прислушиваясь к словам Бакунина и пристально всматриваясь в его титаническую фигуру, стоял, затерянный в толпе, никем не замеченный и, вероятно, всем здесь незнакомый, известный русский романист, Федор Достоевский[5].

Все происходившее в Женевском дворце глубоко потрясло его. Кратко, но выразительно он через несколько дней в письмах к русским друзьям о работе конгресса возмущается проектами отмены христианской веры, уничтожения больших государств и насильственного насаждения мира. «Все это без малейшего доказательства, все это заучено еще 20 лет тому назад наизусть, да так и осталось. И главное — огонь и меч — и после того, как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир».

Так преломилась в сознании Достоевского речь Бакунина. Но гораздо сильнее всех взрывчатых тезисов этого воззвания Достоевский был поражен обликом произносившего их оратора. Он жадно всматривался в могучие черты этого гиганта, давно уже знакомого ему по рассказам, теперь же на его глазах беспощадно судившего с высоты трибуны всю современную цивилизацию. Потрясающий дар слова знаменитого эмигранта, ореол бунтарского героизма и тюремного мученичества, живая легенда об его подвигах и страданиях не могли не взволновать его собрата по эшафоту, тюрьме и Сибири. И пока эти стальные слова о разрушении религии и патриотизма болезненно вонзались в сердце писателя, личность произносившего их оратора как бы вырастала перед ним, раскрывая сложные тайники своего мятущегося и вечно ненасытного духа. Всматриваясь в черты этого лица, Достоевский почувствовал прилив блаженно-томительной тревоги, предвещавшей нарождение нового творчества. Личность Бакунина как бы расковала дремлющую стихию каких-то творческих возможностей, и новый, еще глубоко загадочный, но уже нестерпимо волнующий образ стал мучительно прорезаться в его сознании. В этот день Достоевский задумал своего Ставрогина*.

---

* В письме к Каткову от 8–20 октября 1870 г. Достоевский пишет о Николае Ставрогине: «Я сел за поэму об этом лице потому, что *слишком давно уже хочу изобразить его*». Достоевский обычно долго вынашивал в себе образы своих

II

Итак, «Бесы», — вот то неизвестное исследование о Бакунине, которое подспудно и таинственно живет в нашей литературе в течение целого полувека. Роман, считавшийся до сих пор изображением «нечаевщины», является у нас первой монографией о Бакунине.

Такова наша тема: *Бакунин как прототип Ставрогина*. Разработка ее сообщает немало новых данных для характеристики творческих методов Достоевского и попутно раскрывает одну из самых выдающихся трактовок личности Бакунина во всей мировой литературе о нем.

Оговоримся с самого начала: Ставрогин, конечно, — только воображаемый портрет Бакунина, т. е. в основе глубоко преображающий его подлинный облик; герой Достоевского — не зеркало, поставленное перед лицом исторического деятеля, не фотография его, не точная копия с его речей и поступков. Этого, разумеется, нечего ждать от художника вообще, от Достоевского в особенности; совершенно очевидно, что фантастическая манера его письма, склонность к гипертрофии и крайностям, отражение действительности под самыми неожиданными углами, — все это должно было сказаться на разработке взятого прототипа.

Достоевский стремился в своей портретной живописи не к исторической подлинности, а к выявлению своего художественно-философского замысла, и потому, согласно велениям этого высшего императива, он комбинировал, изменял, усиливал и глубоко преображал все данные бакунинской биографии и психологии. Много здесь было отброшено, как несоответствующее замыслу «Бесов»; многое по тем же соображениям усилено, сгущено, доведено до предельной, почти фантастической степени; иные намеки становились резкими чертами, иные подлинные характерные особенности оригинала совершенно опускались. Искать здесь точного отражения и полного совпадения, конечно, не приходится.

Нам важно установить один только факт: Достоевский, создавая Ставрогина, исходил из личности Бакунина, и по-своему, художественно-философски, т. е. свободно и даже фантастически-произвольно трактовал его образ и толковал его жизненный подвиг. По Ставрогину, конечно, нельзя изучать исторического Бакунина, но при изучении его необходимо считаться и с той художественной трактовкой, какую он получил в творческом сознании одного из своих самых гениальных современников.

любимых героев, и два года, протекшие от встречи его с Бакуниным до начала работы над «Бесами», не представляются чрезмерно длительным сроком.

Мы увидим сейчас, что, при всем преображении фактических данных, основные контуры бакунинской биографии и некоторые капитальные эпизоды ее, главные этапы его идеологии и лично судьбы, нашли себе отражение в образе Ставрогина. Художественная переработка материалов действительности не могла стереть здесь исторической основы, и сложная личность знаменитого анархиста проливает неожиданный свет на облик самого загадочного героя мировой литературы.

* * *

Остановимся прежде всего на биографической основе нашего сближения. Здесь сразу поражает почти полное совпадение различных существенных обстоятельств в истории обоих героев.

Ставрогин, как и Бакунин, — аристократ, идущий в демократию; «сын генерал-лейтенанта и значительной богачки», он генеалогически и сословно вполне соответствует питомцу прямухинского гнезда.

Ставрогин воспитан известным литератором-идеалистом 30–40-х годов С. Т. Верховенским (в лице которого изображен, как известно, Грановский), сумевшим «дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нем первое еще неопределенное ощущение той вековечной священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое удовлетворение». Совершенно аналогичную роль в развитии Бакунина сыграл другой знаменитый идеалист той поры, ближайший друг Грановского, Станкевич, первый приобщивший своего друга ко всем соблазнам германской идеологической философии.

Герой «Бесов» — представитель высшей европейской культуры, приобщенный к первоисточникам научной современности. Ставрогин, как и Бакунин, — был «весьма порядочно образован: даже с некоторыми познаниями» — в смысле чисто научной подготовки. Ему была свойственна потребность постоянно обогащать свою культуру; мы узнаем, что «он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим; потом примазался к какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии. Передавали тоже, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете»; под конец романа снова говорится об «европейской образованности» Ставрогина.

Ряд черт здесь прямо выхвачен из биографии Бакунина: скитания по всей Европе — и не только по Европе, — слушание лекций в немецких университетах — в Берлине у Вердера и других светил, наконец, очевидный намек на случайное участие Бакунина в известной экспедиции Лапинского в Швецию, — все это с неизбежными

художественными преображениями ложится в основу ставрогинской характеристики.

Заграничным скитаниям Ставрогина предшествует его недолговременная офицерская служба. «Он был зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков», в котором пробыл, впрочем, недолго: за проступки был разжалован в один из пехотных армейских полков, а затем вскоре вышел в отставку.

В биографии Бакунина этому соответствует его зачисление в армейскую артиллерийскую бригаду в литовской глуши с определением «обходить чинов в течение трех лет» за какие-то проступки в первом офицерском классе.

Впрочем, в Петербурге Бакунин вращается в кругу своей аристократической родни; молодой офицер радушно принят в салонах Муравьевых и Ниловых, посещает балы и рауты, хотя великосветские развлечения быстро начинают тяготить его. Мы читаем в истории Ставрогина: «Ее (Варвару Петровну) очень интересовали успехи сына в высшем петербургском обществе. Что не удалось ей, то удалось молодому офицеру, богатому и с надеждами. Он возобновил такие знакомства, о которых она и мечтать уже не могла, и везде был принят с большим удовольствием». Впрочем, вскоре Ставрогин забунтовал, закутил и выпал из высшего круга.

Подготовительная стадия ставрогинской биографии закончена. За границей начинается для Николая Всеволодовича новый и важнейший этап его существования — приобщение к международной революции и блистательная пропаганда своих политико-философских убеждений, властно подчиняющих ему разнообразных адептов в лице Шатова, Кириллова, Петра Верховенского и др. Шатов впоследствии вспоминает об их встречах в Швейцарии: «*был учитель, вещавший огромные слова*, и был ученик, воскресший из мертвых. Я — тот ученик, а вы — учитель».

Здесь совершенно очевидна аналогия с заграничной жизнью Бакунина, философского проповедника и революционного пропагандиста небывалой силы и влияния, ставшего для многих «учителем, вещавшим огромные слова».

В дальнейшей истории Ставрогина представляют для нас существенный интерес его отношения к Петру Верховенскому. Изучая процесс нечаевцев[6], Достоевский неоднократно встречался с именем Бакунина, и сложные взаимоотношения двух знаменитых деятелей современной революции сообщили ему немало материалов для его романа. Многое из странной дружбы и последующей вражды Бакунина и Нечаева легло в основу взаимоотношений двух главных героев «Бесов». В прошлом Ставрогин и Верховенский прочно

связаны общей революционной работой в Швейцарии, где они сообща составляли устав революционной организации (нечаевский процесс установил почти непререкаемо сотрудничество Бакунина в составлении знаменитого «Революционного Катехизиса»). Но увлечение вскоре сменилось глубоким разочарованием. В июле 1870 г. Бакунин в своих письмах называет Нечаева опасным фанатиком с «отвратительным образом действий», применяющим «политику Макиавелли и систему иезуитов», допускающим «грязные приемы» и проч. В романе этому вполне соответствует общее презрительное отношение Ставрогина к Петру Степановичу, которого он готов заклеймить прозвищем «мошенника».

Одно характерное обстоятельство из истории взаимоотношений Бакунина и Нечаева отразилось на интриге романа. Как сообщает Драгоманов[7], «Бакунин очень хлопотал, чтоб она (старшая дочь Герцена) сблизилась с Нечаевым и поступила в его русское революционное общество... Для склонения Н. А. Герцен Бакунин устроил в Женеве свидание ее с Нечаевым при таинственной обстановке, в его присутствии и проч. Это происшествие отразилось на эпизоде доставления Верховенским Ставрогину Лизы Дроздовой. Хотя роли здесь и перемещены, основа случая — эксплуатация романического момента в подпольно-революционных целях — остается неизменной.

Не менее авантюрно-фантастичной представляется в романе связь Ставрогина с разбойником Федькой каторжным. Злодейский приказ Николая Всеволодовича: «режь еще, обокради еще», его попустительства убийствам и поджогам почти граничат с сенсациями бульварной романистики. А между тем здесь отражены глубоко подлинные черты действительности, нисколько не сгущенные автором «Бесов».

Бакунин создал, как известно, пламенную апологию русского разбойника. «Приближаются времена Стеньки Разина, — заявляет он в одном из своих воззваний. — Разбои — одна из почетнейших форм русской народной жизни. Разбойник в России — настоящий и единственный революционер, революционер без фраз, без книжной риторики, революционер непримиримый, неутомимый и неукротимый на деле, революционер народно-общественный, а не сословный... В тяжелые промежутки, когда весь крестьянско-рабочий мир спит, кажется, сном непробудным, задавленный всею тяжестью государства, лесной разбойничий мир продолжает свою отчаянную борьбу и борется до тех пор, пока русские села опять не проснутся. А когда оба бунта, разбойничий и крестьянский, сливаются, порождается народная революция. Таковы были движения Степана Разина и Пу-

гачева...». Примечательно, что, по мнению Верховенского, Ставрогин и мог бы сыграть дня них роль Стеньки Разина, «по необыкновенной способности к преступлению».

III

Остановимся на нескольких капитальных эпизодах романа, выявляющих особенно выпукло личность их центрального героя. Это пощечина Шатова, дуэль Гаганова, отношение Ставрогина к Лизе Дроздовой.

Особенное значение имеет первый драматический эпизод романа — пощечина Шатова. Ее биографический источник — пощечина, полученная Бакуниным от Каткова. Как известно, друзья Бакунина глубоко осуждали его за все его поведение в этой скандальной истории, особенно же за уклонение его от дуэли, несмотря на решительный вызов Каткова[8]. Белинский, Огарев и многие другие не остановились перед обвинением Бакунина в подлости и трусости. Колебания Мишеля, отсрочки, извинения, весь видимый аппарат малодушного уклонения от смертельной опасности вызывали в среде друзей Бакунина брезгливое изумление и нескрываемое презрение. И только через несколько лет, на пражских и дрезденских баррикадах, на допросах в Хемнице и Ольмюце, Бакунин доказал, с каким спокойствием он встречал лицо смерти и с каким подлинным героизмом подвергался почти неминуемой опасности быть убитым на баррикадах или казненным в казематах. Его требование перед военным судом, чтоб его казнили расстрелом, а не позорной казнью через повешение, так как он бывший офицер, свидетельствует о его глубоком спокойствии и бесстрашии в минуту величайшей обреченности.

Такова одна из загадок бакунинского образа, глубоко поразившая Достоевского. Бесстрашный воин революции, непонятно и почти двусмысленно отступающий от опасностей дуэли после злейших оскорблений на словах и действием — как примирить это кричащее психологическое противоречие?

Достоевский тщательно разбирается во всех извивах этого сложного внутреннего конфликта.

Ставрогин не только силач и храбрец, он еще бреттер[9]. Его неустрашимость и железная сила воли выявляются в романе с особенной рельефностью. «Напомню опять читателю, что Николай Всеволодович принадлежал к тем натурам, которые страху не ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до зверства спокойно». Необходимо отметить, что от некоторого налета офицерского бреттерства не был свободен и Бакунин.

В 1836 г. он вызвал на дуэль В. К. Ржевского[10], в 1840 г. — Каткова, затем Карла Маркса в случае его отказа поместить в «Рейнской Газете» требуемое Бакуниным опровержение. Впрочем, ни одна из этих дуэлей не состоялась.

Достоевский сравнивает Ставрогина с Лермонтовым и декабристом Луниным, который «всю жизнь нарочно искал опасность, упивался ощущением ее, обратил его в потребность своей природы» и проч. Но, несмотря на такую натуру, он выносит без вызова пощечину Шатова и терпит злейшие оскорбления от Гаганова, принося ему смиренные извинения. — «Бесстыдный трус», решает о нем Гаганов, точь-в-точь как Белинский о Бакунине. И когда, наконец, Ставрогин выходит к барьеру, он трижды стреляет в воздух. — «Я не хочу более никого убивать», — заявляет он взбешенному противнику. Примечательно, что Бакунин высказывался иногда против убийства: «душа моя не была способна к злодейству... и никогда ни Брут[11], ни Равальяк[12] не были моими героями». («Исповедь», 70.)

И только затем, в разговоре со своим секундантом Кирилловым, Ставрогин признается, что «ищет бремени» для своей непомерной волевой силы и что, конечно, величайшее испытание для него — «снести битье по лицу», не уничтожив тут же своего оскорбителя. То, что на первый взгляд кажется позорной трусостью, оказывается высшим, почти сверхчеловеческим напряжением волевой энергии. Таков, независимо от его исторической верности, психологический комментарий Достоевского к катковской истории.

И, наконец, для нашей темы имеет крупное значение отношение Ставрогина к Лизе Дроздовой. Достоевский с большой смелостью для русского романа отмечает в своем герое физическую ущербность, органическое бессилие, сексуальную дефективность: «принц Гарри» истощил свои силы в извращениях огромного разврата. Об этом заявляют в лицо ему различные герои романа. После проведенной с ним ночи, Лиза в своем смятом платье и растрепанной прическе злобно кричит ему: «Вы всякого безногого и безрукого стоите». Петр Верховенский клеймит его с таким же ожесточением: «...старая вы, дырявая, дрянная барка на слом». Этот смелый штрих в характеристике Ставрогина был зорко подмечен и зафиксирован в замечательных статьях А. Л. Волынского[13]. Один из лучших исследователей Достоевского категорически говорит по поводу Ставрогина «о физическом вырождении его мужской личности», об его «полном органическом бессилии»: «в нем подорван принцип жизни, истощены все непосредственные инстинкты».

Так раскрывает Достоевский великую тайну пола в Ставрогине. Холодный, чуждый подлинной страстности, он, по собственному вы-

ражению, «пробует большой разврат», не чувствуя влечения к нему. Спокойный экспериментатор в области чувственности, он с неохотой предпринимает свои хладнокровные опыты наслаждений.

Как ни трудна и опасна эта сфера для биографических исследований, позволительно утверждать, что и здесь Ставрогин является отражением Бакунина. По свидетельству Ю. М. Стеклова, «половой момент в жизни Бакунина не играл никакой роли». Сомнительно даже, было ли ему вообще знакомо это чувство. Вся энергия этого колоссального организма уходила на работу мысли и на снедавшую его лихорадочную деятельность*. «Детей Бакунин не имел и иметь не мог», сообщает Вяч. Полонский**.

О том же свидетельствуют современники; Катков кричит ему: «скопец!», и, по свидетельству Белинского, это подействовало на него сильнее подлеца. Сам Белинский говорит об его «скопческом слоге», называет его «абстрактным героем», иронизирует над его девственностью. Не случайно Герцен называет его «революционером-аскетом», «монахом революции». Вообще говорить об его «холодной крови» стало обычным в кругу его друзей.

Но при этом, из тех же писем Белинского видно, что Бакунин «пробовал разврат». А по позднейшему свидетельству Анненкова он был в известные моменты своей жизни «весьма податлив на житейские наслаждения». Но поздно возникшие эксперименты чувственных эмоций быстро замерли: биографы Бакунина решительно отвергают за его браком какое-либо подобие реального супружества и совершенно категорически называют имя настоящего отца детей Антонины Ксаверьевны Бакуниной[14].

Так, даже в этом сложном изломе ставрогинского образа Достоевский не отступает от своей модели.

IV

В заключение этого биографического обзора необходимо остановиться и на ряде дополнительных черт ставрогинского образа. Мертвенность, застылость, безжизненность Ставрогина может показаться полной противоположностью бурнопламенной активности Бакунина. И, конечно, героические подъемы этого страстного борца не нашли своего отражения в «Бесах». Но нужно учитывать, что легенда о Бакунине склонна преувеличивать его неутомимую

* Ю. М. Стеклов. «М. А. Бакунин, его жизнь и деятельность». М., 1920, I, 355.

** Вяч. Полонский. «М. А. Бакунин, жизнь, деятельность, мышление». М., 1922, I. 455.

действенность; на самом деле он знал периоды глухой и тупой безнадежности, наводившей его даже на мысль о самоубийстве. Он говорит в своей «Исповеди»: «Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование»... И далее: «Во мне умер всякий нерв деятельности, всякая охота к предприятиям, я сказал бы — всякая охота к жизни»... Впоследствии он пытается отравиться в Ольмюцкой крепости и уславливается с братом о доставлении ему яда, если бы освобождения из Алексеевского равелина не последовало.

Другая черта, поражающая в Ставрогине, это — непонятная в таком культурнейшем европейце малограмотность. Достоевский жестоко иронизирует над слогом «русского барича, не совсем доучившегося русской грамоте, несмотря на всю европейскую свою образованность». Предсмертное письмо Ставрогина к Даше — образец уродливо изломанного, беспомощного и неправильного франко-русского слога, который почти сплошь отзывается дурным переводом и раздражает приемами чужого синтаксиса.

Для Достоевского — это важная черта: преобразователь мира, оперирующий грандиозными проблемами отвлеченной мысли и практического строительства, искушенный во всех тайнах современной философской культуры, неспособен правильно написать простого русского письма! Реформатор вселенной не сумел доучиться русской грамоте! Вот что значит оторваться от почвы, потерять связи с родной землей, — как бы сурово заключает автор «Бесов».

Но свой философский вывод Достоевский строит на эмпирической основе. Прототип Ставрогина и здесь служит романисту. Бакунин поражал своих друзей и учеников безграмотностью своих писем. Белинский не переставал жестоко клеймить его за незнание грамматики («Небось, по-французски не ошибешься в орфографии — на что же это похоже!»). Письма Бакунина поражают неудачными галлицизмами[15] вроде «интегритет», «радикульный», «фратернитет», «унанимно апробированный» и пр. Гениальный мастер устного слова, Бакунин, в сущности, до конца жизни не научился правильно писать по-русски. Достоевский, несомненно, читавший его письма к Огареву в Женеву, воспользовался их стилем и грамматикой для заключительного памфлета в характеристике Ставрогина.

Можно не настаивать на целом ряде других совпадающих деталей. Сюда относится Швейцария, с которой как-то фатально связан Ставрогин: здесь происходит у него до начала романа какая-то загадочная любовная история, затем встреча с Шатовым и Петром

Верховенским и приобщение к делу международной революции; здесь же он собирается поселиться навсегда: «Я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури...»

Другая деталь из биографии Бакунина, это — обвинения в шпионстве, исходящие из своих же революционных кругов. Ставрогин говорит о своих политических единомышленниках: «Они уверены, что я тоже шпион. Все они, от неуменья вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве».

Все эти дополнительные совпадения для нас несущественны, и мы ничего не строим на них; но их позволительно попутно отметить и учесть их значение в связи с другими данными романа.

V

Внешность людей необычно действовала на Достоевского. Когда он встречал где-либо поражавшее его лицо, он сейчас же видел в нем центрального героя своего будущего романа.

Так, на вечере у Анны Павловны Философовой[16], в середине 70-х годов он встретился с молодым ученым Александром Львовичем Блоком, отцом будущего поэта. Это был человек странной, мрачной и интригующей красоты, с тяжелым взглядом и необыкновенно яркими губами. «Достоевский, — сообщает М. А. Бекетова[17], — собирался изобразить его в одном из своих романов в качестве главного действующего лица».

Своеобразный человеческий облик мгновенно переносился Достоевским в сферу художественного замысла и начинал жить в неясном окружении создающегося романа. Так именно должен был поразить его и внешний вид Бакунина. В этом необыкновенном лице он сразу прозрел своего будущего героя.

Это отчасти сказалось и на внешности центрального персонажа «Бесов». Ставрогин изображен в романе как «очень красивый молодой человек», но с лицом странным и поражающим: «волосы у него были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист; зубы как жемчужины, губы как коралловые, казалось бы писаный красавец, а в то же время как будто отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску; впрочем, многое говорили, между прочим, и о чрезвычайной телесной силе его. Росту он был почти высокого».

Нам известны три портрета молодого Бакунина. Ознакомление с ними в связи с свидетельствами мемуаристов не оставляют сомнения в физическом прототипе Ставрогина; мастерски выполненный

Достоевским портрет его героя воспроизводит внешний облик Бакунина 30–40-х годов, лишь с небольшими художественными вариациями и отступлениями вроде — «росту почти высокого».

Разумеется, Достоевского здесь интересуют не детали физического облика, а лишь глубоко своеобразное впечатление от его общего выражения.

Особенный интерес представляет для нас портрет Бакунина в 40-е годы, приложенный к книге Вячеслава Полонского: он дает разительное объяснение следующей пометке Достоевского: «казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен». Своеобразная правильность черт и овала лица в соединении с каким-то отталкивающе-неприятным выражением создаст действительно впечатление застывшей и пугающей маски. Аналогичное, хотя и несколько ослабленное впечатление раздражающей красивости имеется и на редком литографическом портрете Митрейтера[18] (1843), приложенном к монографии Стеклова (воспроизведен также в IV томе соч. Белинского, редакции Венгерова). Оба портрета Бакунина 40-х годов, модно и даже щеголевато одетого, вполне соответствуют свидетельству Достоевского: «Это был самый изящный джентльмен... чрезвычайно хорошо одетый... привыкший к самому утонченному благообразию»...

Высокий рост и физическая сила Бакунина достаточно известны. Наконец, акварельный портрет, приложенный к книге Корнилова, подтверждает другую деталь ставрогинской внешности: ясные, светлые глаза.

Таковы показания бакунинской иконографии, подтверждающие общую верность портрета, исполненного Достоевским.

Также показательны и свидетельства современников. По указаниям различных мемуаристов, молодой Бакунин был изящным красавцем, неизменно поражавшим окружающих своей великолепной внешностью. Арнольд Руге говорит об элегантности Бакунина, пострадавшей только после пражского восстания. Рейхель определенно называет Бакунина «красивым молодым человеком». Бакунин, по его словам, щеголял в то время изяществом одежды и внешних приемов, ловкостью блестящего артиллериста-гвардейца. Карл Грюн[19] отмечает следы изящной барственности в Бакунине 40-х годов. Анненков говорит о замечательно красивом и выразительном лице Бакунина. Рихарда Вагнера поражает «необыкновенная импозантная внешность этого человека, находившегося тогда в расцвете тридцатилетнего возраста»...

Даже детали здесь списаны с натуры: ставрогинский «яркий и чистый румянец» — не фантазия портретиста. Белинский сви-

детельствует: «Бакунин — пророк и громовержец, но *с румянцем на щеках* и без пыла в организме». Дебагорий-Мокриевич описывает светло-голубые глаза Бакунина.

Важно при этом отметить общее впечатление от внешности Ставрогина: его фигура неизменно поражала окружающих. По свидетельству хроникера «Бесов», Ставрогин при первом своем появлении именно «поразил» его. Это впечатление повторяется при втором появлении Николая Всеволодовича: «как и четыре года назад, когда в первый раз я увидал его, так точно и теперь, я был поражен с первого на него взгляда».

Знавшие Бакунина в аналогичных терминах отмечают первое впечатление от его внешнего облика: «Когда я впервые увидел Бакунина, — свидетельствует Вагнер, — *меня поразила* необыкновенная импозантная внешность этого человека»... и проч. «Глаза у него были загадочные, как у хищного животного», — свидетельствует Г. Иекк.

Достоевский видел Бакунина в 1867 г., когда его молодой облик был сильно стерт годами и испытаниями. Но и в чертах постаревшего героя романист видел все то же характерное выражение тяжелой маски, необычайно эффектной и в то же время неприятно поражающей. Взгляд, мимическая игра, общее выражение этого исключительного лица могли многое дать его наблюдателю, прозревавшему за чертами старика интересующим его молодой облик. При обычной тщательной информации и документации Достоевского, не может быть сомнения, что он собрал нужные ему сведения о внешности молодого Бакунина, столь разительно совпадающие со ставрогинским обликом. Наконец, нужно иметь в виду, что различные портреты Бакунина в молодости, до сих пор сохранившиеся, Достоевский мог видеть у его друзей — Белинского, Герцена или Огарева.

Во всяком случае, обилие черт и признаков сходства во внешности Бакунина и Ставрогина едва ли оставляет возможность предполагать здесь случайные совпадения. Портрет Бакунина 40-х годов может служить лучшей иллюстрацией ко второй главе «Бесов», где впервые появляется «принц Гарри».

VI

Для характеристики Бакунина представляет существенный интерес отношение к нему его ближайших современников. Необходимо под этим углом взглянуть и на героя «Бесов».

Духовная личность Ставрогина так же двоится в глазах его окружающих, как и его внешний облик. Он одновременно подчинял силой непобедимого очарования и возбуждал острую ненависть к себе.

Власть Ставрогина над сердцами поистине безгранична: перед ним благоговеют, на него почти что молятся. Среди главных персонажей романа нет ни одного, который бы не поклонялся этому новому полубогу. Петр Верховенский страстно исповедуется ему в своей экстатической любви: «Ставрогин, вы красавец... вы мой идол. Вы предводитель, вы — солнце, а я ваш червяк»... И он страстно целует руку своему кумиру. — «Вы так много значили в моей жизни, — признается ему с почти женской влюбленностью Шатов, — разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из сердца моего, Николай Ставрогин». Кириллов загипнотизирован им до добровольного самоубийства, наглый Лебядкин уподобляется в его присутствии кролику под взглядом удава.

О женщинах нечего и говорить. Стоит ему неожиданно появиться в многолюдном обществе, как хромоножка Лебядкина с безумным, почти невыносимым восторгом складывает перед ним руки и готова преклонить колена. «Даша так и заколыхалась на месте при его приближении», Лиза забилась в истерике. Такими сильно драматическими приемами и бурно психологическими порывами Достоевский выявляет могучую власть этого неодолимого очарования.

В подготовительных записях к «Бесам» читаем: «Вообще нужно иметь в виду, что князь обворожителен, как демон. Он должен быть обольстителен. — Шатов порабощен князем до идолопоклонства».

Но эта демонская обольстительность Ставрогина дублируется в нем полярно противоположным свойством. Страстная любовь к нему сменяется в его адептах чувством дикой вражды до отвращения и неслыханных оскорблений. Петр Верховенский, целующий руки Ставрогину, клеймит его унизительными кличками: «Дрянной, блудливый, изломанный барчонок»... Шатов, готовый целовать следы его ног, почти бранит его теми же словами и бьет кулаком но лицу. Молящаяся на него Лебядкина в минуту исступления кричит ему: «Самозванец!.. Гришка Отрепьев, анафема!» И даже готовая бежать к нему из-под венца Лиза Дроздова издевается и жалит его своей пробудившейся ненавистью: «У меня укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое и... в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде. Берегитесь мне открывать, если правда: я вас засмею. Я буду хохотать над вами всю вашу жизнь».

Казалось бы, эта чудовищная смесь непобедимой прельстительности и жуткого безобразия, слитые в одном лице и одновременно возбуждающие поклонение и бунт, создают совершенно фантастический характер, реально-невозможный продукт воспаленного мозга Достоевского.

А между тем любопытно проследить, как тонко и точно романист кристаллизует здесь в своем искусстве данные жизни — глубокие противоречия бакунинской натуры. Все близкие Мишеля, его сестры, его друзья и ученики прошли через эти противоположные этапы, все были переброшены от полюса поклонения к полюсу непонимания и вражды.

Способность подчинять себе сердца была в высокой степени свойственна Бакунину. Примечателен в этом отношении рассказ Анджело де Губернатиса о их первой встрече: «Бакунин словно хотел околдовать меня своим взглядом... Великий змей окружил меня с этой минуты своими фатальными кольцами» и проч.

По свидетельству близко знавшего Михаила Александровича его друга Рейхеля, Бакунин «не мог не производить своим блестяще одаренным умом сильного влияния на людей, которые горячо противились его взглядам». И, действительно, страстные спорщики с ним — Герцен, Белинский, Огарев, Тургенев — все подпадали под воздействие его покоряющего ума.

Особенно показательны в этом отношении признания Белинского: «Ты имел для меня глубокое и таинственное значение, — пишет он Михаилу Александровичу, — ...и я люблю тебя, Мишель, люблю горячо». — «Люблю я тебя с твоею кудрявою головою, этим кладезем мудрости, и дымящимся чубуком у рта». «После Станкевича я тебе больше всех обязан... Ты внес в мою жизнь мысль». «Много я понимаю теперь глубоко и понимаю через тебя». «Ты возжег во мне новое пламя, развил в росток то, что во мне было зерном». Он отмечает в своем друге «силу, дикую мощь, беспокойное стремление вдаль без удовлетворения настоящим моментом»... — «Ты, Мишель, просто велик», — заключает он к одном письме.

Замечательно, что и на лиц совершенно иного, решительно враждебного ему круга — на европейских суверенов и их ближайших сподвижников — Бакунин часто производил такое же пленительное впечатление. В Швеции, например, брат короля, министры, различные государственные деятели подпадают под власть его очарования несравненно сильнее, чем это полагается трезвым политикам. У нас один из царских следователей, князь Г. (биографы предполагают, что Горчаков[20]), участвовавший в допросах Бакунина, дал ему самую лестную характеристику. Наконец — что примечательнее всего — даже сам император Николай I, несомненно, поддался заочному очарованию этого загадочно-пленительного человека.

А наряду с этим — какое напряжение антипатии и вражды, подчас даже ненависти и отвращения! Мягкосердечный и кроткий Огарев называет Бакунина «длинным гадом», «подлецом», считает

его «человеком, которому гадко руку протянуть». После истории с Катковым, Бакунин казался Белинскому настолько противным, что он не допускал возможности любви к нему со стороны женщин и не понимал, как могут целовать его сестры.

В своих письмах Белинский не скрывает, что он «с ожесточением и остервенением» восставал на Бакунина за его злость, чудовищное самолюбие, гордость, тщеславие, хлестаковство. «Ты говоришь, — пишет он ему, — что в моих глазах, по моему понятию, ты — пошляк, подлец, фразер, логическая натяжка, мертвый логический скелет, без горячей крови, без жизни, без движения; отвечаю, да, Мишель, к несчастью, с одной стороны, это правда...» «Пожить с тобой в одной комнате значит разойтись с тобой».

Это мнение — разделялось и прочими друзьями. «Талант и дрянной характер!» — лаконично и выразительно бросает Герцен. «В Бакунине, — записывает проникновенными словами Рихард Вагнер, — антикультурная дикость сочеталась с чистейшим идеализмом человечности. Мои впечатления от него постоянно колебались между невольным ужасом и непреодолимой симпатией». Н. А. Огарева-Тучкова[21] отмечает в своих мемуарах разительную противоречивость всех отзывов об этом близком друге ее семьи. Один из убежденных адептов Бакунина, его флорентийский ученик Ножин[22], был горячо привязан к нему и в то же время почти ненавидел его. Чрезвычайно характерен отзыв Грановского. «Странный человек этот Бакунин: умен, как немногие, с глубоким интересом к науке и без всяких нравственных убеждений. В первый раз встречаю такое чудовищное создание. Пока его не знаешь вблизи, с ним приятно и даже полезно говорить, но, при более коротком знакомстве с ним, становится тяжело — unheimlich[23] как-то».

Полнее всего это странное, мучительное, трагически-двойственное отношение к Бакунину формулировал в своих письмах тот же Белинский: «Уважаю его, но любить не могу», сообщает он Станкевичу. «Пустой малый в своей внешней жизни, — пишет он ему непосредственно, — ты, Мишель, высокая душа в своей внутренней жизни». «Я любил и ненавидел тебя», — признается он в другом письме. «Ты в моих глазах раздвоился, и в тебе одном я видел два различные существа: одно прекрасное и высокое, могучее и глубокое; другое — пошлое донельзя, до невозможности». «Всегда признавал и теперь признаю в тебе благородную львиную природу, дух могучий и глубокий, необыкновенное движение духа, превосходные дарования, бесконечное чувство, огромный ум; но в то же время признавал и признаю: чудовищное самолюбие, мелкость в отношениях с друзьями, ребячество, легкость, недостаток задушев-

ности и нежности, высокое мнение о себе насчет других, желание покорять, властвовать, охоту говорить другим правду и отвращение слушать ее от других».

И, наконец, словно пытаясь суммировать бесконечное разнообразие впечатлений и ощущений: «Я не умею иначе выразить моего чувства к тебе, как любовью, которая похожа на ненависть, и ненавистью, которая похожа на любовь».

Нельзя не заметить, что это сложное и мучительно-надрывное отношение к Бакунину всех его друзей поразительно напоминает аналогичные метания Шатова, Кириллова, П. Верховенского, Лебядкиной, Лизы Дроздовой в их поклонениях и вражде к Ставрогину.

VII

Задавался ли автор «Бесов» целью отразить в своем романе и сложную идеологию Бакунина, пришедшего в эволюции своих воззрений от мистического идеализма и политического консерваторства к боевому атеизму и анархической проповеди? На первый взгляд может показаться, что в личности Ставрогина нет соответствий этим сложным идеологическим этапам бакунинской психографии, — но это впечатление, при более пристальном рассмотрении текста, обнаруживает всю свою иллюзорность.

Два полярных миросозерцания Бакунина Достоевский разлагает на личностях учеников Ставрогина: с одной стороны, Шатов, с другой — Кириллов и отчасти Петр Верховенский; Шатов — выразитель раннего миросозерцания Бакунина: панславизм, религиозность, возвеличение идеи народности до ее философского апофеоза; Кириллов — это поздняя формация бакунинской идеологии: «Бога нет и, стало быть, я — бог», идеология, доведенная в романе до трагического абсурда и находящая себе разрешение в жутком эксперименте философического самоубийства. Наконец, Петр Верховенский, воплощая Нечаева, выражает и практические заветы позднего Бакунина (во многом оказавшегося солидарным с Нечаевым): это — проповедь безграничного разрушения во имя разрушения, новой пугачевщины, великой «раскачки» Руси.

Какие же «огромные слова» вещал Ставрогин своему воскресающему из мертвых ученику Шатову? Он формулирует мессианское учение о спасении мира Россией, — единственным народом-богоносцем, «кому даны ключи жизни и нового слова». «Вы насаждали в моем сердце Бога и родину», — говорит Шатов. По позднейшему определению Ставрогина, «это была славянофильская мысль». И действительно, в его исповедании религиозной общественности

и даже мистической революционности, в его основном тезисе — «бог есть синтетическая личность народа», наконец, особенно, в его вере, что обновление мира пойдет от России, — есть нечто от того политического славянофильства, от которого не были свободны ни Герцен, ни Бакунин.

Достоевский-художник, конечно, не задавался целью воспроизвести здесь стенографически слова и мысли Бакунина. Степень художественного преображения действительности здесь, конечно, значительна, но основная сущность раздумий и проповеди молодого Бакунина здесь все же звучит явственно и передана замечательно верно. Учение Бакунина сороковых годов, а отчасти и шестидесятых, определяется исследователями как «революционный панславизм»; здесь даже отмечается подчас влияние Константина Аксакова*. То, что Ставрогин говорит о России, Бакунин переносит на все славянство, придавая, впрочем, русскому народу особое значение в деле революционного обновления мира. «Считая этот (славянский) мир наименее испорченным цивилизацией, — рассказывает Рихард Вагнер, — он отсюда ждал возрождения человечества. Свои надежды он основывал на русском национальном характере, в котором ярче всего сказался славянский тип. Основной чертой его он считал свойственное русскому народу наивное чувство братства». «Я не мог оторвать ни природы, ни сердца, ни мыслей своих от России», — пишет Бакунин в своей «Исповеди».

И с каким пламенным подъемом он исповедует этот русский мессианизм в своем знаменитом воззвании к славянам, где он говорит о пробуждающемся «народе-великане», о «могучем племени», полном величия и силы: «В Москве будет разбито рабство всех соединенных под русским скипетром славянских народов, а с ним вместе и все европейское рабство, и навеки будет схоронено в своем падении под своими собственными развалинами; высоко и прекрасно взойдет в Москве созвездие революции из моря крови и огня и станет путеводной звездой для блага всего освобожденного человечества...» Так Бакунин насаждает родину в сердцах своих слушателей. Это почти что слова Ставрогина об едином народе, призванном обновить и спасти мир силою нового верования.

Ибо нужно помнить: молодой Бакунин, обратившись к революционной деятельности, сохранял религиозность прежних лет и даже несомненную склонность к мистицизму. (Это настроение, как известно, он во многом сохранил до преклонного возраста, и уже

---

* Вяч. Полонский. «Мих. Бакунин в эпоху 40–60-х годов». (Вступительная статья к «Исповеди» Б-на, 1921, стр. 39.)

в 1862 г. он говорил Тургеневу, что верит в личного бога.) В 40-х годах он своеобразно сливает в своем миросозерцании революционность, религиозность и культ славянства, в частности — религию России. — «Вы — скептик, я — верующий», — определенно заявляет он в 1847 г. в письме к Анненкову, формулируя ему свое credo. «Во всем этом много мистицизма, — скажете вы, — да кто же не мистик? Может ли быть капля жизни без мистики? Жизнь только там, где есть широкий, безграничный и потому несколько неопределенный мистический горизонт...» Еще определеннее он высказывается тогда же в письме к одному из своих польских друзей. «Вы ошибаетесь, дорогой друг, если думаете, что я не верую в бога; я только вполне отказался от того, чтобы признавать его научно и теоретически. Я ищу бога в людях, в их любви, в их свободе и теперь я ищу бога в революции. Я был бы очень счастлив, если хоть сколько-нибудь мог способствовать освобождению славян, освобождению моей родины, был бы очень счастлив умереть за свободу поляков и русских... Мы находимся накануне великих событий. Это — критический момент для славян, да исполнит каждый свой долг и да будет с нами святая божественная истина»... Письмо заканчивается словами: «Да хранит вас всех бог!»... Невольно вспоминается шатовская формула о Ставрогине, насаждавшем в его сердце «бога и родину».

Наконец, в статье о Вейтлинге и коммунизме (1843 г.) Бакунин говорит о новой революционной религии. Наступившая эпоха «открывает собой великий революционный переворот, и жестокая борьба, которая должна разгореться, будет иметь не только политический, но и религиозный характер». «Не надо себя обманывать. Дело идет именно к новой религии, к религии демократии, на знамени которой начертаны слова: “Liberté, égalité et fraternité”»[24].

Можно было бы сильно умножить цитаты из писаний Бакунина для более полного освещения его религиозного и революционно-патриотического учения сороковых годов. Полагаем, что и немногих приведенных выдержек вполне достаточно для установления фактической связи между бакунинскими теориями и проповедью Ставрогина в ее «шатовской» рецепции.

Но мы знаем из романа, что в то время, как герой его обращает Шатова в свою мистико-патриотическую веру, он так же убежденно и с таким же успехом проповедует атеизм Кириллову. Эту сторону его учения мы узнаем опять из уст его ученика, страстно принимающего его философию. Его тезисы лапидарно-выразительны: «Для меня нет выше идеи — что Бога нет. Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя; в этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории не захотел первый

раз выдумывать бога. Атрибут божества моего — своеволие. Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую сознательную свободу мою».

Ставрогин внушил Кириллову идею воинствующего атеизма, которую ученик сам определяет термином человекобожество, т. е. обожествление человека в виду отсутствия бога. Заповедная формула Кириллова: «Если нет Бога, то я — бог». Он развивает эту формулу в следующих тезисах: «Если Бог есть, то вся воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие».

Достоевский здесь излагает в стиле обычных полуфантастических философий своих героев позднюю формацию бакунинского миросозерцания, разумеется, всячески заостряя и стилизуя ее, согласно своему художественному замыслу. Теоретическая основа его — крайний, абсолютный, боевой атеизм, который сам Бакунин называет антитеологизмом, выявляя и подчеркивая объявленную войну всему богословскому мироучению. Высший принцип всякой религии, утверждает Бакунин, систематическое, абсолютное умаление, уничтожение и порабощение человечества в пользу божества. «Так как Бог — всё, то реальный мир и человек — ничто. Так как Бог — истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек — ложь, неправедность и смерть. *Так как Бог — господин, то человек — раб*»... «Существование Бога, — читаем в бакунинском исследовании “Федерализм, социализм и антитеологизм”, — логически связано с самоотречением человеческого разума и человеческой справедливости; оно является отрицателем человеческой свободы и необходимо приводит не только к теоретическому, но и к практическому рабству». И дальше: «Всякий, желающий обожать Бога, должен будет отказаться от свободы и достоинства человека.

Бог существует, значит, человек — раб.

Человек разумен, справедлив, свободен, — значит, Бога нет.

Мы смело утверждаем, что никто не сможет выйти из этого круга...

Уважение к нему переходит в презрение к земле, а обожание божества — в унижение человечества».

Мы видим, что художественная транспозиция Достоевского и этой фазы идей Бакунина отличается такой же близостью к оригиналу, как и прочие элементы ставрогинского облика. Учение Кириллова в его основных положениях о человеко-божестве — за выделением его крайнего вывода о необходимости самоубийства — является точным переложением основоположных тезисов бакунинского «антитеологизма».

Наконец, последнюю практическую формацию бакунинского учения — сущность его анархизма — выражает в минуту вдохно-

венного подъема Петр Верховенский. В Ставрогине живет страсть к разрушению. Он дает Федьке Каторжному зловещий сигнал к убийствам и поджогам, и по его верховному мановению сгорает половина города и начинается поножовщина. Пожары, массовые убийства, раскачка и смута исходят в романе от него, несмотря на всю его видимую пассивность. По первоначальным заметкам и наброскам к «Бесам» видно, что одна из формул Ставрогина — «все сжечь», совпадает полностью с лозунгом Бакунина. В монологе Верховенского мы имеем свободное изложение бакунизма, с тем фантастическим отблеском, какой неизбежно принимают в романе все исторические документы, использованные Достоевским. Но материал действительности явно просвечивает сквозь бредовые видения: «мы сначала пустим смуту, — начинает Верховенский, — мы проникнем в самый народ... Мы провозгласим разрушение... почему, почему, опять-таки, эта идейка так обаятельна?.. Мы пустим пожары, мы пустим легенды... Ну-с и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... и застонет стоном земля: “новый правый закон идет”, и взволнуется море, и рухнет балаган»...

Можно не приводить соответствующих цитат из Бакунина, — достаточно указать на все его воззвания, речи и статьи, где затрагивается и, следовательно, вдохновенно трактуется тема гибели старого мира. Монолог Верховенского великолепно отражает напряженный пафос Бакунина, упоенного творческими возможностями идеи всемирного разрушения.

VIII

Возникает вопрос: откуда Достоевский мог почерпнуть столько сведений о жизни и личности Бакунина в эпоху, когда не существовало еще ни одной его биографии? Откуда такое щедрое обилие фактов, черточек, событий, эпизодов, взятых из самой гущи истории Бакунина и насквозь напитавших личность и судьбу Ставрогина? Оправдывается ли фактами творческой истории «Бесов» наша презумпция о широкой осведомленности их автора во внешней и внутренней биографии Бакунина?

Заочное знакомство Достоевского с будущим прототипом Ставрогина относится к ранней поре его творчества — сороковым годам. Достоевский попал в кружок Белинского вскоре после того, как Бакунин покинул его. Глубокий след, оставленный великим диалектиком в сознании его друзей, был здесь слишком ощутим в беседах и помыслах его недавних адептов. Сам Белинский, Тургенев, Пана-

ев — ближайшие друзья Михаила Александровича — должны были постоянно упоминать его имя, особенно в связи с разворачивающейся на Западе громкой революционной деятельностью Бакунина. Если Рихард Вагнер был поражен этим именем, встретив в газетах известие о выступлении одного русского на польском банкете, то можно представить, с каким напряженным волнением следили за деятельностью Бакунина его недавние друзья и ученики.

В кружке, специально следившем за ходом европейской революции, — в среде петрашевцев, где начинает вскоре постоянно бывать Достоевский, — имя Бакунина должно было звучать еще чаще. 1848 год, придавший руководителю Пражского восстания всеевропейскую знаменитость, как раз застает Достоевского в разгаре его увлечения фурьеризмом. Не может быть сомнения, что в кружке петрашевцев, бдительно следивших за всеми событиями революционного движения на Западе, имя первого русского, приобщившегося к европейской революции, постоянно произносилось в благолепном окружении всех слухов и устных сведений об его бесстрашной борьбе с европейской реакцией.

На исходе 40-х годов в судьбах Достоевского и Бакунина открываются некоторые реальные аналогии. По странному совпадению, для них обоих открывается длительный период тюрьмы и ссылки. Весной 1849 г. Достоевский и Бакунин были арестованы. Петропавловская крепость, а затем далекий Омск видят их почти одновременно. Конец 50-х годов оба проводят на положении сибирских поселенцев, правда, в различных городах и ни разу не встретившись, но, несомненно, зная друг о друге. Появление Бакунина в Сибири было крупным событием в жизни политических ссыльных, — о нем заговорили, на него обращали особенное внимание. В последние годы своего пребывания в Сибири Достоевский много наслышался о Бакунине, который находился в это время в Иркутске, где жили также Петрашевский, Спешнев[25], Львов[26], т. е. товарищи Достоевского по политическому процессу. В свою очередь, и Михаил Александрович в своих сибирских письмах упоминает имя Достоевского (письмо к Герцену от 7 ноября 1860 года из Иркутска).

Летом 1863 г. Достоевский видится в Лондоне с Герценом (встречались они, по сведениям, сообщенным мне М. К. Лемке[27], и во Флоренции). Есть полное основание гипотетически ввести тему о Бакунине в их беседы, вообще касавшиеся социальных проблем европейской современности. Как отмечал в свое время Страхов, Герцен оказал заметное влияние на тогдашние социально-политические воззрения Достоевского, сказавшиеся с такой живостью и остротой в «Зимних заметках о летних впечатлениях». Вот почему для нас представляет

особый интерес высказанное тогда же мнение Герцена о Бакунине, которое суммирует ряд характерных черт, отметивших впоследствии образ Ставрогина.

1 сентября 1863 г. Герцен в письме к самому Бакунину дает ему суровую оценку, подчеркивающую отвлеченность и «призрачность» его воззрений: «Оторванный жизнью (от жизни. — *Л. Г.*), брошенный с молодых лет в немецкий идеализм, из которого время сделало dem Schema nach[28], реалистическое воззрение, *не зная России*, ни до тюрьмы, ни после Сибири, но полный широких и страстных влечений к благородной деятельности — *ты прожил до 30 лет* в мире призраков, студентской распашки, великих стремлений и мелких недостатков. После 10-летнего заключения *ты явился тем же теоретиком со всей определенностью* du vague[29], болтуном... с долей тихонького, по упорного эпикуреизма[30] и с чесоткой революционной деятельности, которой недостает революции». Здесь как бы дан размашистый психологический набросок будущего образа Ставрогина.

В 60-е годы Достоевский знакомится довольно близко с Жакларом, мужем его «невесты» Анны Васильевны Корвин-Круковской, впоследствии известным коммунаром. Это был один из видных сторонников Бакунина; когда в 1868 г. на конгрессе Лиги Мира в Берне Бакунин был вынужден оставить Лигу, Жаклар вместе с Реклю и некоторыми другими последовал за ним.

Наконец, как мы знаем, в 1867 г. Бакунин и Достоевский одновременно находятся в Женеве. Первый из них выступает на конгрессе Лиги Мира, заседания которого, по свидетельству Анны Григорьевны, посещались и Достоевским.

Чрезвычайно существенно, в истории заочного знакомства автора «Бесов» с Бакуниным, встреча и близкое отношение Федора Михайловича с Огаревым в Женеве в 1863 г. Сведения об их дружбе и постоянных беседах мы имеем в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской. — «Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких. Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. Из прежних же он встретил в Женеве одного Н. Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто заходит к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда десятью франками, которые мы при первых же деньгах возвращали ему. Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого душевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению...» и проч. («Воспоминания А. Г. Достоевской», глава «Женева», цитировано по рукописи.)

Огарев принадлежал к тому небольшому кружку лиц, которые досконально изучили личность Бакунина. Зная его с юных лет, Огарев был свидетелем всех бурных эпизодов бакунинской молодости,

близко прикасался к различным обстоятельствам его тогдашней жизни, принимал постоянное участие в дружеских обсуждениях, а иногда и пересудах поведения Мишеля. Вся биография Бакунина и всестороннее освещение его характера могли быть раскрыты Достоевскому его постоянным женевским собеседником. Нет такого фактического или биографического вопроса о личности Бакунина, на который бы Достоевский не мог бы получить исчерпывающего ответа от Огарева. Мы имеем здесь обширнейший источник информации нашего писателя о заинтересовавшем его герое. Если для ознакомления с личностью Грановского Достоевский специально выписывает книгу Станкевича, для изучения Бакунина ему с лихвой заменяют все печатные источники разговоры с Огаревым и — что еще важнее — письма к нему Бакунина. Ибо нужно думать, что Огарев, в то время усиленно переписывавшийся с Бакуниным, не скрывал от Достоевского писем своего корреспондента, и многое высказанное в этих пространных признаниях послужило Достоевскому материалом для «Бесов». <...>

Вчитываясь в эти замечательные бакунинские письма к Огареву, приходишь к заключению, что они вообще немало дали Достоевскому. Необходимо учесть в декабрьских письмах 1869 г. рассказы Бакунина о возвращении к нему его номинальной жены Антонины Ксаверьевны (фактической жены итальянского политического деятеля Гамбуцци) за три недели до родов, причем возникающие денежные заботы Михаила Александровича, его сообщение о повивальной бабке и проч., вся необычная конъюнктура события воспроизведена Достоевским в истории родов Шатовой.

Отдельные характерные выражения писем Бакунина, вроде «наш бессмертный друг Badingué»[31] (4 января 1870 г.), или: «Aléa jacta est»[32] (21 февраля 1870 г.), со всей точностью воспроизведенные в «Бесах», подтверждают предположение о знакомстве Достоевского с этими письмами.

Укажем еще одну дату — именно день начала работы над «Бесами». 7/14 декабря 1869 г. Достоевский сообщает Майкову[33]: «Через три дня сажусь за роман в “Русский Вестник” (т. е. за “Бесы”)». Приведенные бакунинские письма, таким образом, совпадают с моментом приступа к роману и первой работы над ним.

В распоряжении Достоевского имелись и различные печатные данные. В органах Каткова — «Московских Ведомостях» и «Русском Вестнике» 60-х годов, в которых печатаются и «Преступление и наказание» и «Идиот», появляются в то время различные сведения о Бакунине. Некоторые из этих сообщений представляют для нас крупный интерес. <...>

Собственные воззрения и теории Бакунина Достоевский мог узнать из различных статей и брошюр, которые свободно распространялись в женевских книжных лавках и читальнях, куда, как известно, постоянно заходил Достоевский. Он мог прочесть здесь и «Романов, Пугачев или Пестель», и прокламации к русским студентам и офицерам, т. е. целый ряд бакунинских страниц, художественную транспозицию которых мы отмечали в теориях Ставрогина. Наконец, ряд чрезвычайно существенных сведений автор «Бесов» почерпнул из отчета о процессе нечаевских сообщников, за которым он следил с жадностью художника, напавшего на благодарнейшую творческую руду.

Наконец, у нас есть фактическое указание на то, что, работая над «Бесами», Достоевский думал о Бакунине. В подготовительных набросках романа, где будущий Ставрогин всюду называется князем, имя Бакунина все же встречается, правда, только один раз, в мелкой приписке, «Гр.[ановский] говорит: Бакунин — старый гнилой мешок бредней» и проч. Даже если эта запись относится не к Ставрогину, а непосредственно к историческому лицу — это упоминание Бакунина в черновиках «Бесов» весьма знаменательно.

Все это, думается, достаточно объясняет ряд поразительных совпадений романа о Ставрогине с бакунинской биографией.

* * *

Нам необходимо считаться и с одним соображением из области творческой психологии Достоевского. Изображая русскую революцию, Достоевский не мог пройти мимо ее центральной фигуры, и, намечая главных героев «Бесов», он никак не мог миновать самого выдающегося деятеля всего движения, его вождя и руководителя, уже отмеченного в то время мировой славой. Не забывая в своем романе таких второстепенных участников «Нечаевщины», как Успенский или Зайцев, припоминая и некоторых малозаметных петрашевцев вроде Ал. Милюкова[34], воспроизводя с большой точностью деятельность самого Нечаева, Достоевский не мог оставить в стороне крупнейший эпизод нечаевской деятельности — его столь прошумевшую связь с Бакуниным. Если вспомнить, с каким жадным вниманием Достоевский стремился воспроизвести в своих эпопеях всех выдающихся деятелей современной России (в известном письме к Майкову он сообщает, что думает вывести в задуманном романе и Тихона Задонского[35], и Чаадаева, и Павла Прусского[36], и Пушкина, и Белинского, и Грановского), — станет очевидным, что в план его изображения русской революционной современности Бакунин должен был войти как центральное лицо. Это тем очевиднее, что

из всех деятелей тогдашнего подполья и эмиграции, получивших отражение в «Бесах», Достоевский лучше всего знал Бакунина, только его лично видел и даже слышал как политического оратора.

Но это нисколько не ослабляет степени преображения исторического лица в романе. В своей творческой работе Достоевский никогда не стеснял себя данными действительности и подлинными признаками прототипа; ему нужна была не определенная конкретная фигура во всех ее особенностях, а лишь ее художественная типичность. Он пишет Майкову: «*Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип*»... Он заявляет в «Дневнике писателя»: «Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева»... Это полностью выражает и его отношение к Бакунину; он взят Достоевским не как подлинная историческая фигура, а лишь — как романический тип, т. е. с полным сохранением за автором прав на свободное преображение этой крупной и характерной фигуры политической современности. Портретного сходства здесь, конечно, нечего искать, а все отличия от оригинала нисколько не ослабляют исконной связи Ставрогина с его историческим прообразом.

IX

Как же воспринимает и толкует Достоевский образ Бакунина?

Ставрогин — воплощение исключительно умственной, мозговой силы. В нем интеллект поглощает все прочие духовные проявления, парализуя и обеспложивая всю его душевную жизнь.

Мысль, доведенная до степени чудовищной силы, пожирающая все, что могло бы рядом с ней распуститься в духовном организме, какой-то феноменальный Рассудок-Ваал[37], в жертву которого принесена вся богатая область чувства, фантазии, лирических эмоций, — такова формула ставрогинской личности. «Вас борет какая-то новая грозная мысль», «вас колеблет великая мысль», — говорят ему окружающие, ощущая нечто трагическое и грозное в этом человеке, снедаемом без остатка идеей. Этим исключительным развитием логики Достоевский придает своему герою какие-то сатанинские черты, лишая его всякого творческого дара, всякой вдохновенности или героических порывов. «Из меня вылилось одно отрицание, — пишет сам Ставрогин в предсмертном письме, — без всякого великодушия и без всякой силы».

Но и тот элемент, который может уравновесить отсутствие этих вечно-человеческих свойств — мощная творческая воля — в аспекте активной строительной силы не дана Ставрогину. Его исключительный волевой закал остается бесплодным и безжизненным, не выяв-

ляется вовне созиданием новых ценностей и при своей высочайшей напряженности способен только медленно разлагать духовную природу своего носителя. Ставрогин отмечен каким-то проклятием духовного бесплодия, он может только раздражающе томить души своих адептов, бессильный благодатно оплодотворять их. Поставленный в самый центр революционного движения, стоящий в фокусе целой системы политических заговоров, как их глава и руководитель, он сохраняет при этом до конца позицию поразительного невмешательства в эту возбужденную подпольную работу. Это какой-то новый Сальери[38] революционного действия, способный вырабатывать отважные теории, сводить гармонию к алгебре и отравлять своими формулами живые души, но бессильный подняться к этой творческой и действенной гармонии.

Фатальная рефлексия разъела до конца всякую творческую способность в этом мощном духовном организме и обрекла его на медленную гибель. В Ставрогине невозможно предположить интереса к поэзии, к музыке, к живым и звенящим голосам великой сферы мирового искусства, ибо влечение к ней предполагает ту живую сердечную стихию, которой навсегда лишил Ставрогина его могучий и холодный, как стальная машина, рассудок. Этим образом Достоевский дал совершенно исключительный в мировой литературе опыт: он создал личность, поглощенную без остатка огромным интеллектом и в нем потерявшую себя.

Не одному только Шатову Ставрогин должен был бы сказать: «Мне жаль, что я не могу вас любить»... И есть какая-то трагическая обреченность в его предсмертном признании: «Я никогда не могу потерять рассудок»...

Вот почему в Ставрогине есть нечто жуткое и прельстительное. Эта колоссальная сила ума, играющая всеми соблазнами диалектики и вобравшая в себя без остатка все духовные и творческие возможности его организма, одновременно пугает и влечет к себе. Этот голый мозг, достигший какой-то небывалой гипертрофии, поражает мощью своих грандиозных концепций, обреченных на крушение в силу их исключительно мозговой природы. Перед нами гений абстракта, исполин логических отвлечений, весь захваченный безграничными перспективами мощных и бесплодных теорий. Их пафос в колоссальной разрушительной силе, умертвляющей все, к чему прикасается Ставрогин; их трагизм в бессилии стать созидательными, переплавить истребление в творчество. Мертвенность Ставрогина, это — окаменелость гениального теоретика при обнаружившейся невозможности возвести идею ломки в категорию созидания, жизненно отождествить волю к разрушению с творческой страстью.

Знаменитый лозунг Бакунина «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust» несет в себе неисправимое противоречие, фатально обрекающее на трагическое бесплодие.

Так понимал Достоевский Бакунина, и нельзя не признать, что в свете такого истолкования загадочная личность великого мятежника получает поразительное озарение. Ставрогин — это яркий рефлектор перед лицом Бакунина. Зоркая меткость этой характеристики подтверждается, как мы видели, фактами жизни и психологическими чертами исторического героя. Анненков замечательно определяет коренное свойство Бакунина: «Потребность созидания систем и воззрений, обманывающих духовные потребности человека вместо удовлетворения их». Это фатальный опыт ставрогинских теорий на Кириллове и Шатове. Сам Бакунин отмечает в себе эту оторванность от почвы: «Я знал Россию мало; восемь лет жил за границей, а когда жил в России, был так исключительно занят немецкою философиею, что ничего вокруг себя не видел». «Я создал себе фантастическую Россию».

Друзья Бакунина чувствовали, что непосредственная, целостная и многокрасочная жизнь лишь тогда вдохновляла и увлекала Бакунина, когда она отлилась в идею, переплавилась в ratio[39], т. е. в известном смысле обесцветилась, раздробилась и оскудела, но взамен приобрела исключительную силу стремительности. Способность Бакунина увлекаться процессом логических построений, независимо от их выводов и конкретных приложений, создавала особый вид философского «искусства для искусства», игры в мышление — ради самого процесса мышления.

Сам Бакунин отмечает в себе склонность смотреть на жизненные вопросы «с высоты философской абстракции»: «Мой политический фанатизм, живший более в воображении, чем в сердце, имел свои... границы»; «*ненависть моя была в воображении, в мыслях, не в сердце*». «Я был в то же время обманутым и обманщиком, обольщал себя и других, как бы насильствуя мой собственный ум и здравый смысл моих слушателей»*.

Поднимая гибельные бури в душах своих слушателей, сам Бакунин испытывал лишь головное возбуждение, и, бросая смертоубийственные тезисы, он не ощущал реальных последствий их приложения. По-видимому, он одинаково восхищал поразительным блеском своего изложении и могучей способностью играть самыми отвлеченными и гибельными идеями, придававшими его учению вид холодной, обнаженной и сверкающей гильотины. Мысль для

* «Исповедь», 49, 70–71, 84.

Бакунина была всегда гигантским рычагом и тараном, стенобитным орудием исключительной силы, способным снести до основания любые крепостные стены и уже потому непригодным к более тонким заданиям духа к художественному творчеству, к интимной душенной жизни.

Мощь своих разрушительных мускулов Бакунин должен был искупить дефектом своей духовной организации. Возбуждавший к себе такую исключительную влюбленность женщин и поклонение мужчин, сам он никогда в жизни не любил: природа, одарив его небывалым мозговым аппаратом, сделала это за счет его сердца и даже в ущерб его физиологической нормальности. За свои сверхчеловеческие упоения логическими празднествами Бакунин никогда не узнал общечеловеческой радости любви, страсти супружества и отцовства. Семейные отношении его были бы глубоко трогательны, если бы в них не было чего-то жалкого, бессильного, слишком отвергающего всякое представление о достоинстве и красоте подлинной мужественности. Богатырь мысли и действия являет в основном человеческом существе своем — в отношении к женщине — такую беспомощность, тоскливую неприспособленность (вспомним свидетельство Герцена: «Бакунин женился из скуки...») и обидную пассивность, что поистине можно, по примеру древних, говорить здесь о каком-то жестоком законе возмездия, которым завистливая судьба поражает за свои слишком щедрые дары.

Так же разительно сказывалась и духовная ущербность Бакунина, всюду, где творчество не исчерпывалось мыслью и не всецело определялось рассудком. Область искусства была отрезана от Бакунина, и, кажется, сам он сознательно и намеренно завалил себе все входы в этот мир высших человеческих эмоций. Он словно сознательно стремился вытравить здесь даже те склонности, которыми природа не вполне обошла его, например, свою прирожденную музыкальность. Если, по свидетельству Рейхеля, он мог часами слушать Бетховена и отличался музыкальной памятью, сам Бакунин осознавал в себе это как величайший грех и осуждал себя за проявление такой слабости. По свидетельству Рихарда Вагнера, «каждый разговор он неуклонно сводил к разрушению, — все попытки ближе обрисовать перед ним цель моих эстетических стремлений оставались бесплодными»...

Это относилось не только к музыке. Известный художник Н. Н. Ге[40] отмечает полную неспособность Бакунина к эстетическим восприятиям. Решительнее всего это сказалось в его распоряжении выставить Сикстинскую Мадонну против артиллерии пруссаков, осаждавших Дрезден; правда, это было сделано в расчете, что прус-

саки «zu klassisch gebildet»[41], чтоб стрелять в Рафаэля, — но это, конечно, не колеблет мнения о глубоком эстетическом равнодушии Бакунина. Хотя сам он отвергал впоследствии другое обвинение — в том, что он отдал тогда же приказ об устройстве временного склада горючих материалов в знаменитой Дрезденской галерее, отчего и произошел пожар, уничтоживший часть коллекций, — нужно признать, что такое распоряжение было бы вполне в духе его боевого приказа о Сикстинской Мадонне, его пожелания видеть сожженным Париж при отступлении коммунаров и во всех его диспутах об искусстве. Замечательно, что еще в 40-х годах прозорливый Белинский совершенно категорически произносит приговор: «Отсутствие в тебе эстетического чувства».

Поистине поразительно, насколько этот выдающийся ум, вечно погруженный в проблемы современности, столь самобытно и дерзко разрешаемые им, беспомощен в чисто литературном отношении: чтоб написать статью, ему необходима помощь друзей, он не умеет самостоятельно построить обычного журнального трактата и подчас ищет помощи даже у скудного дарованием Огарева. То, что Бакунину не удалось выработать из себя писателя, что его мемуары, которые могли бы составить интереснейшую книгу XIX века, так и не были написаны, свидетельствует лишний раз, насколько всякое искусство, всякая литература, все, отмеченное художественным вдохновением, было чуждо ему. Единственное исключение отсюда — ораторское искусство, столь органически свойственное Бакунину; но оно почти сплошь построено на рассудке — особенно в своем политическом виде — и, конечно, можно быть выдающимся политическим оратором, сохраняя при этом полную анти-художественность в своей натуре. Выдающиеся ораторские дарования Ставрогина и Бакунина не делают их художниками, и нисколько не приближают их к живому эстетическому чувству.

В жизни Бакунина бывали трагические минуты тупой безнадежности, когда он мечтал о самоубийстве и даже пытался прибегнуть к нему. Окованный, обреченный, он, видимо, переживал моменты морального оцепенения, напоминающие мертвенность Ставрогина. Для философского замысла Достоевского важно было выдвинуть на первый план это именно состояние и всецело сосредоточить на нем психологическую структуру своего героя. Художник имел право взять под этим углом свою модель и зарисовать ее в этом редкостном освещении. Другой великий художник той же эпохи, во многом родственный Достоевскому, Рихард Вагнер, схватил ту же модель в совершенно ином озарении и рассмотрел в ней иные черты. Для германского трагика, изобразившего Бакунина в образе своего Зиг-

фрида, русский бунтарь, сражавшийся рядом с ним на дрезденских баррикадах, являет общечеловеческое воплощение торжествующего героизма и радостного великодушия. Это — мощный заклинатель всех зловещих сил истории, великий борец за избавление человечества от вековых пут и скреп, победоносно ведущий его к высшему бытию и прекраснейшему будущему.

Эту героическую сущность великого завоевателя Достоевский, как мыслитель, должен был отвергнуть в Бакунине, и, как художник, он прошел мимо нее. Согласно велениям его романического замысла, образ вождя «Бесов» должен быть, как Антихрист в предании — прельстительным и ложным, умственно неодолимым и нравственно несостоятельным. Вот почему Ставрогин, воплощая общую схему психологического типа Бакунина с его чудовищно-развитым интеллектом за счет всех прочих духовных даров, не передает того бурнопламенного устремления, которым вечно была подвергнута личность «святого бунтаря». Ставрогину чуждо то героическое начало, которым искупались бесчисленные грехи бакунинской натуры.

Герой «Бесов», как всякий художественный образ, не есть точная копия своего прототипа: он комбинирует по-новому и глубоко преображает жизненные черты оригинала. Совершенно очевидно, что возмущение Достоевского «нигилизмом» направляло его концепцию в сторону развенчания и отрицательной тенденции. Достоевский создал Ставрогина, чтоб казнить его позорной казнью через повешение. Таково было намерение романиста, которое, как известно, не всегда подчиняется рационалистической программе автора. С Достоевским произошло то же, что с Шекспиром при создании Шейлока: желая дать убийственною карикатуру, он создал величественный и трагический образ. Гений художника, по слову Гейне[42], оказался выше его воли. Личность Бакунина не пошла на памфлет и убийственною пародию, на которую так легко поддались фигуры Грановского, Нечаева, даже Тургенева.

Бакунин выдержал испытание сатирического возмущения Достоевского. Он и под натиском этого гневного вдохновения сохранил свое величие и ценность. Никакие приемы романиста не могут принизить его героя до того уровня жалкого, поистине смешного и мелкого, на котором очутились живые прообразы Кармазинова или обоих Верховенских, попав в заколдованный круг памфлетического гнева Достоевского. Поставленный в самые тяжелые и невыгодные условия, Ставрогин до конца сохраняет известное достоинство и значительность. Там, где расплывчатые, колеблющиеся, двойственные фигуры Грановского и Тургенева оказались благодарнейшим материалом для насмешливой карикатуры, образ

Бакунина остался непоколебимым и целостным, облитым сарказмом, но не осмеянным. Там, где так легко пародируются «Довольно» и «Призраки» Тургенева, поэма Печерина и исторические исследования Грановского — писания Бакунина служат материалом для глубоких и возвышенных философских поэм Шатова и Кириллова, для вдохновенного в своем исступлении бреда Петра Верховенского. Достоевский, решившийся посягнуть пародийным стилем на самого Гоголя, оказался бессильным перед поставленным заданием — дать пародию речей и статей Бакунина.

В процессе изучения своей модели великий художник невольно и вразрез со своим намерением увлекся и пленился ею. Повторилось то же, что и с образом Грановского, взятого для карикатуры и вдохновившего Достоевского на глубоко возвышенные страницы «Последнего странствования Степана Трофимовича». Недаром сам Достоевский признавался, что он любит этого героя. Нечто аналогичное произошло и с образом Бакунина. Желая казнить и проклинать, он многое невольно принял в нем, многим пленился и восхитился... «Николай Ставрогин — тоже мрачное лицо, тоже злодей, — сообщает он в одном из своих писем. — Но мне кажется, что *это лицо — трагическое*... Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское, и типическое лицо. Я *из сердца взял его*».

Сложное отношение романиста к его знаменитому современнику сказалось полностью на художественном воплощении его. Ставрогин не столько портрет, сколько, скорее, маска Бакунина. Слепок снимается с мертвого лица, он с максимальной точностью воспроизводит черты, но никогда не передает их живого выражения. Маска всегда разительно похожа и фатально неподвижна.

Таков и герой Достоевского. Это, конечно, Бакунин, запечатленный в его основных чертах, но совершенно лишенный богатой мимической игры оригинала. Он схвачен здесь в момент жуткой застылости и того душевного оцепенения, которое находило подчас на скованного Прометея революции 1848 г., но не могло быть длительным для его бурно-динамической натуры.

Достоевский в «Бесах» был подлинным ваятелем масок, мощно лепившим облики своих современников, стилизуя, украшая или искажая их, согласно велениям своего художественного замысла. Среда этих слепков с живых лиц мыслителей и мятежников имеется и тяжелая голова «исполина с львиной гривой». Лицо его резкими и неизгладимыми чертами отпечатлелось на маске Ставрогина, и только огонь высокого героизма, озарявший могучий облик Бакунина, ускользнул от его гениального портретиста.

Из доклада В. П. Полонского «Бакунин и Достоевский»[43]

ИТОГИ

Такова документальная сторона исследования Л. П. Гроссмана. Зыбкость выводов, воздушность посылок, неисторичность самой конструкции — оказываются для него характерными. Ослепленный сверкнувшим парадоксом, наш автор попал в плен предвзятой идее. Не он ею овладел, но она им завладела. Потому-то, словно одержимый, отдавшись своеволию интуиции, он изобретал, когда документальных подтверждений не находил; умалчивал, когда они ему противоречили; устанавливал, как доказанные, положения, нуждавшиеся в доказательствах; толковал в благоприятную сторону события и факты, имевшие смысл обратный тому, которого он добивался; щеголял мелочами, призванными играть в его работе большую роль, и совершенно забывал о крупнейших явлениях, оставляя их за кулисы памяти.

В итоге — совпадения не совпадают; «капитальные эпизоды» оказываются фантастическими; портретное сходство, столь тщательно наведенное, смывается, как грим, от прикосновения критической губки; самое же главное: источники, послужившие фундаментом всей работы, — отчеты нечаевского процесса и переписка Бакунина, сообщаемая романисту Огаревым, — оказываются, при ознакомлении, мифом.

Так возникают легенды. И, повторяем, только благодаря большому изобразительному таланту Л. П. Гроссмана обязана эта легенда своей внешней убедительностью.

Всего печальнее при этом то обстоятельство, что, много труда потратив на столь бесплодное занятие, Л. П. Гроссман затуманил образ Ставрогина, пройдя мимо истории его возникновения и развития. А между тем *эта история устанавливает факт полной независимости Ставрогина от той исторической фигуры, которая, по утверждениям Л. П. Гроссмана, явилась будто бы его прототипом.*

Ведь не только потому отрицаем мы гипотезу Л. П. Гроссмана, что она им документально не обоснована, что с отчетом о нечаевском процессе Достоевский познакомился после того, как добрая половина романа была напечатана; что знаменитые письма свои, послужившие будто бы Достоевскому материалом для Ставрогина, Бакунин написал Огареву лишь после того, как исчезла всякая возможность сообщения их содержания Достоевскому, и т. д. и т. д. Мы пойдем навстречу Л. П. Гроссману и предположим, что все его исследование

исторично и документально, что нечаевский процесс был опубликован до появления «Бесов» в печати, и что письма Бакунина Огарев действительно сообщал Достоевскому.

Допустим все это — и все-таки такие допущения ни на йоту не сделали бы более доказательной гипотезу Л. П. Гроссмана, ибо генезис образа Ставрогина убедительно говорит нам, что возникновение и развитие его не находится ни в какой связи с Бакуниным, ни с его письмами, ни с процессом Сергея Нечаева.

Николай Ставрогин родился и вырос сам по себе. Михаил Бакунин — так же.